

шая с одного конца, называлась «сковородником». Сковородник мог иметь металлическое приспособление.

Надо заметить, что наконечник и металлическая клюка появились после организации в Большерецке упомянутой мною ранее мастерской, в которой обучали ремеслу молодых людей.

Кухонный инвентарь. Мясорубки в Большерецке почти не употреблялись, так как трату денег на них можно было с успехом заменить ничем не стоящим трудом по изготовлению «шельницы». Так именовалось тонкой работы корыто из берёзового дерева, в котором толкли или секли какой-либо продукт. В шельнице «толкушей» разминали картофель, икру, кипрей, тело рыбы и другие мягкие продукты. «Сечкою» — круглым диском из металла диаметром сантиметров десять, отточенным с одной стороны, имевшим с противоположной пустотелую ручку длиной около тридцати сантиметров, — рубили мясо и осердия на колбасу.

Каждая хозяйка умела выпекать хлеб, от простой ржаной булки до куличей из белой муки тонкого помола. Для этого заводили тесто в небольшой кадучечке, которую называли «квашонкой».

Жирник, состоявший из жестяного противня величиною в четверть листа бумаги с тканевым фитилём, плававшим в жиру, служил для кратковременного освещения в бане, чулане, сенях или амбаре.

Каждый знает самовар. В нём углём кипятили воду для чая. После тяжёлой работы или длительного пребывания на холоде, прежде чем приступить к еде, выпивали кружки две горячего чая. Чаёк обожали взрослые, пили его густозаваренным из блюдца, без сахара и хлеба.

Не перечисляя обыкновенный и общеизвестный кухонный инвентарь, считаю необходимым остановиться на столовых ножах, которые раскладывали на стол с праздничной закуской. Эти ножи никогда не точили, и они были настолько тупы, что гость иной раз избегал ими резать лишний кусок.

Приспособления для выделки кожи. Жители Большерецка были большие искусники по части выделки кожи, как пушной, так и для пошива обуви. Кроме доски, на которой

при помощи скребков стогнали со шкуры жир и мездру (подкожная клетчатка, остатки мяса и сала, отделяемые при выделке кожи. — *Ред.*), имелись мялки. Они делились на два вида, из которых одни были лежачими, а вторые — стоячими.

Лежачая мялка представляла собой корыто с глубокими и глубокими насечками внутри без стенки на одном конце. На другом же конце в боковых стенках проделывали два отверстия. В них просовывали металлический болт, удерживавший один конец круглой и тяжёлой накладки с крупными выступающими зубьями. Другой конец накладки имел форму рукоятки, за которую можно было её двигать по горизонтали, как, скажем, оглоблю, прикреплённую к оси телеги.

Положенную между корытом и накладкой кожу мяли вручную, периодически обильно смазывая медвежьим жиром, до тех пор, пока она не становилась мягкой, подобной сукну. Работа на лежачей мялке была куда тяжелее и менее производительна, чем на стоячей.

Стоячая мялка изготавливалась из столба, напомилавшего по форме две трубы разного диаметра, вставленные одна в другую, в результате чего между ними образовывались по окружности плечики. С верхней части столба меньшего диаметра надевался круглый решётчатый каркас, упирившийся своим основанием в плечики. Этот каркас, состоявший из гранёных реек, вставленных в верхнюю и нижнюю плаху, облежавший столб на расстоянии двух-трёх сантиметров от окружности, свободно вращался. В середине такого столба имелась щель, в которую через каркас решётки просовывали кожу. При попеременном вращении каркаса вокруг оси столба в разные стороны, заправленная туда твёрдая кожаная заготовка, смазанная жиром, постепенно размягчалась.

Прежде чем мять шкуру, с неё, конечно же, стогнали шерсть. Для этого шкуру закапывали в яму дней на пять, где она в результате деятельности микробов полностью освобождалась от любой шерсти. После этого её полоскали в воде и напяливали на особые палки, натягивая ремнями, где она высыхала и превращалась в кожу, словно натянутую на бубне.

Однажды, когда мужчины были на промысле рыбы в устье Большой реки, мы, подростки, такую правленую кожу стали колотить палками. Глухой звук от наших ударов, подобных стрельбе из многих ружей, был настолько сильным и тревожным, что многие собаки сорвались с цепей, коровы, задрав хвосты, разбежались, а бабы всполошились. Когда жители узнали о нашей проделке, нам порядочно попало.

Не имевшие утюга пользовались «рубелем» — полуовальной доской с ручкой и насечёнными с наружной стороны зубьями. Намотанное на каталку бельё катали рубелем, от чего оно становилось глаженным.

Косы для кошения травы на сено имели горбатые ручки и назывались «горбушками». Они напоминали в два-три раза увеличенный серп. Такой косой можно было работать, только согнувшись в поясице под прямым углом. Её правили на точиле. Прокос получался широкий, а скошенная трава лежала не валками, а россыпью. Позже молодёжь, забросив горбушки, перешла на стоячие косы.

ОХОТНИЧЬЕ И РЫБОЛОВНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

Охотничье снаряжение состояло из инвентаря для обеспечения жизни в лесу самого охотника, оружия для добычи зверя, ловушек и отрав. Конечно же, никакая охота зимой немыслима без упряжки собак с нартой, а летом — без бата. Но об этих транспортных средствах и тяговой силе я расскажу особо.

Кукуль — спальный мешок — и зимой, и летом служил неизменным спутником рыбаку и охотнику. Сшитый из оленьих шкур, он был лёгким и прочным. Летом пользовались кукулом, изготовленным из шкур молодых медведей или собак.

Без палатки вообще невозможно было отлучаться из дома, даже и на одни сутки. Летом мог накрыть продолжительный и холодный дождь, а зимой — свирепая пурга.

Прежде палатки ставили без каминов, но в последние годы, когда мастерская в Большерецке стала производить их, при

продолжительной зимней охоте они стали неременной принадлежностью бывалого охотника.

Маленький топорик с длинной ручкой из сухой берёзы был удобен в работе. Им, кроме заготовки дров для костра, прорубали над ходом норы особые колодцы, при помощи которых подбирались к лисе, укрывшейся в гнезде. Для этого же охотник имел при себе металлическую лопату.

Полотно с крупными ячейками, без поплавков и грузил, но зато с сошками применяли для окружения соболя, спрятавшегося в дупле. Эту сеть, топорик и лопату укладывали в тулун — узкий мешочек, сшитый из нерпичьей шкурки, к которому подцепляли потег с алыком. В такой алык впрягали собаку, которая, идя за хозяином-охотником по лыжне, волокла тулун. Этот пёс, умевший промыслить зверя, назывался зверовой собакой.

Широкие и лёгкие лыжи, обшитые шкурой нерпы, были прочными и незаменимыми при ходьбе по глубокому снегу и в гору. Они не скользили назад при подъёме, снег к ним не прилипал, и большие расстояния с их помощью преодолевались ходко.

Иногда вместо металлической лопаты брали деревянную. Она была лёгкой в работе, хорошо подбирала снег, который разгребали до земли при установке палатки.

То, что нельзя было уложить отдельно в нарту или бат, укладывали в вещевой мешок, сшитый из кожи нерпы, который был удобен тем, что был носким и не таким промокаемым, как матерчатый. Назывался он «калаузом».

Оружием служили винчестеры, карабины и берданы. Дробовики имели калибры от двадцатого до десятого и применялись в зависимости от величины зверя. Так, соболя били из двадцатого калибра, стреляя в него мелкой дробью.

Старые люди рассказывали, что в прошлом они применяли на охоте штуцера — шомпольные ружья. Они были не только капсюльными, но и с наружными полками для пороха (с кремниевыми замками и даже фитильными, как у первых землепроходцев. — *Ред.*). Этот порох на полке запаливался, и после этого раздавался долгожданный выстрел.

Нерпу добывали пикой, изготовленной из кости оленьего рога. Пика имела на одном конце трёхгранное остриё, а на другом, лапкообразном, — небольшое углубление, которым её надевали на шест. Посредине пика имелось отверстие, куда продевали прядь из жильной нитки. Один конец этой довольно толстой пряди привязывали к длинному ремню, другой конец которого оставался в руках охотника, кидавшего шест с насаженной на него пикой. Преимущество этого холодного оружия было таково, что застрявшая в туше нерпы пика позволяла подтянуть животное посредством ремня к берегу, тогда как от пулевого ранения оно бесследно исчезало в воде. Промышляли таким способом преимущественно в устье Большой реки, кидая насадку с берега в местах, где нерпы плавали особенно близко, кормясь в воде.

Устройство капканов знает всякий, и потому особых пояснений тут не требуется. Установкой петель на «ушканов» занимались только подростки, так как промысливать зайца взрослые считали недостойным.

Горностаев ловили кулёмками. Их делали в основном тоже подростки, рубя в стволе лесины треугольное углубление. Там ставили настоженные зацепы с приманкой и жердиной, которая, падая, одним концом придавливала части ловушки с попавшимся зверьком.

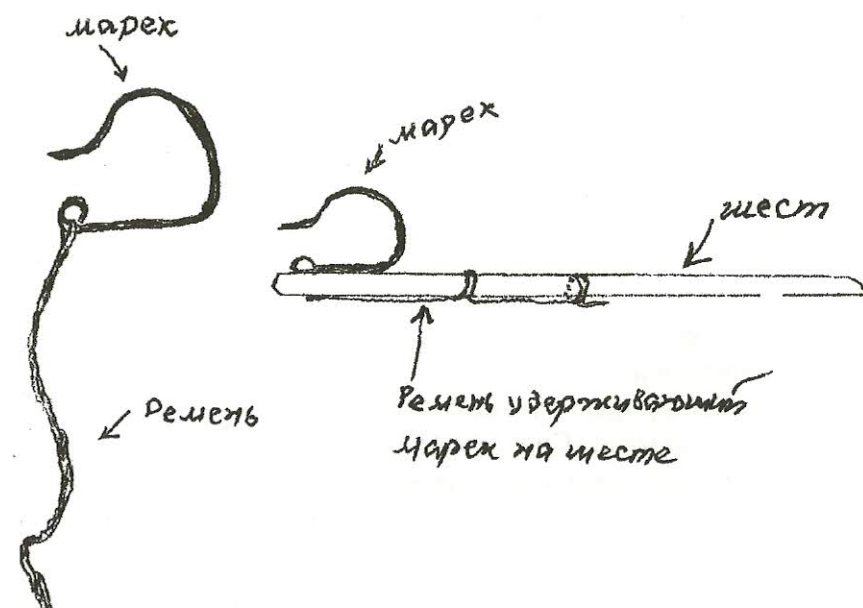
Из отрав применяли стрихнин. Обычно он был японским, но особенно ценился немецкого производства. В пилюли, слепленные из воска, с величайшей осторожностью над шестком под трубой печи насыпали порцию яда. Эти пилюли, покрытые слоем топленого жира, разбрасывали вместе с приманкой на снегу. От слабого действия яда лисицы погибали не сразу, и в большинстве своём охотнику не доставались. Поэтому этот способ добычи считался запретным, и им пользовались очень редко и скрытно.

Рыболовными крючками при помощи лески ловили гольцов, хариусов и микиж только дети. Взрослые же это занятие считали баловством.

Крючком, прикрепленным к длинному шесту, рыбу промысливали в исключительных случаях, например, на охоте.

Об остроге понятия не имели, а вот «мариком» ловили в основном кету, летнюю красную и кижуча. Отсоединённый от шеста марик брали с собой в поездки глубокой осенью на охоту в хребты, где добывали соболя. Там его насаживали на длинный шест и кололи кижуча, во множестве водившегося по незамерзающим ключам. Этой рыбой кормили собак.

Кованый из прута железа марик напоминал по форме подкову, у которой один конец, менее согнутый внутрь, завершался небольшим колечком, куда просовывали ремень, удерживавший марик в настоженном виде на конце шеста. Второе окончание такой подковы имело остриё, которое, пронзив тушку рыбы, при ударе перестраивалось на поворотный крюк.



Марик, иначе марек (рисунок автора)

Откуда взялся марик, неизвестно. С. П. Крашенинников, будучи в Большерецке, о нём в своих трудах ничего не упоминает, также как и о деревянной ловушке — «запоре».

О марике имеется интересное упоминание в статье «Айны — народ-загадка», напечатанной в третьем номере журнала «Наука и жизнь» за 1977 год (стр. 110): «В рыбной ловле

айны издавна использовали “марик” — острогу с подвижным поворотным крюком, захватывающим рыбу».

Надо полагать, что этот способ лова рыбы был завезён в Большерецк от айнов, касательство с которыми имели жители Курильских островов во время меновой торговли. А может быть, перыми его применили участники экспедиции, плававшие под командою капитана М. П. Шпанберга в 1739 году на кораблях, изготовленных в Большерецке.

В зависимости от времени года, вида рыбы, её ловили и сетями. Они делились на ставные, сплавные и неводные. Ставные сети с крупными ячейками ставили на весеннюю красную, чавычу и отчасти на кижуча в устьях возле струи бегущей реки. Сплавными сетями промысляли чавычу. Несколько снастей, принадлежавших участникам лова, сращивали вместе и, разложив их по двум батам, расходились до противоположных берегов, плывя по течению со сброшенными сетями. Делали это обычно впотьмах, вылавливая за ночь несколько десятков чавыч.

Ставные сети ничем по существу не отличались от сплавных, поэтому и те, и другие широко применяли для городьбы реки со слабым течением. В одной из таких удачных операций довелось участвовать мне.

Мы перегородили в два ряда устье реки Начиловой, сварили еду, поели, выспались, как следует, готовясь к ночному промыслу чавычи. Спокойная зеркальная гладь тёмно-коричневой воды несколько тревожила нас отсутствием признаков пребывания рыбы: та не всплывала на поверхность, не было заметно характерного волнения, присущего лёгким прогулкам чавычи.

После заката солнца, насладившись душистым чайком, трое из нас, расставшись со становьем, пахнувшим умятой на нём травкой, пошли на одном бату вверх по течению. Одного товарища с батом оставили около выставленных сетей.

Отойдя от становья версты три, мы зажгли костёр, пустили его по течению, растянули поперёк русла небольшую сетчонку и поплыли с догоравшим костром, пугая рыбу шестами. Так плыли в крошечной тьме часа три, а когда встретились

с четвёртым участником около ставных сетей, он стал нас журить, упрекая, что мы якобы долго прохлаждались и что у него от работы уже онемела спина. Посмотрели на берег, усталый чавычей, и при зорьке наступившего утра насчитали около двухсот особей. При этом надо иметь в виду, что отдельные экземпляры большерецкой чавычи достигали веса полутора пудов.

Закидным неводом с частыми ячейками ловили ранней весной и поздней осенью в основном гольцов.

Старые люди сказывали, что прежде сети вязали из крапивного волокна, а верёвки вили из ветлового лыка.

Запоры различали двух видов. Один назывался сплавным. Он состоял из двух плетений, отходивших от обоих берегов реки к середине, где остриё запора завершалось чиручем, в который попадала сплывавшая рыба. Ловили таким запором только весенних гольцов.

Самым надёжным и наиболее распространенным считался второй вид запора. Его устройство, очевидно, сложилось из нескольких ловушек, возможно, привезённых промышленными людьми с рек, впадавших в «Студёное море». Здесь они совместились с ловушками, имевшимися уже тогда у камчатских аборигенов. Трудно вообразить, чтобы местные жители до прихода русских на Камчатку обходились только крапивными сетями. Ведь их плетение было весьма трудоёмким, да и не так уж много было на Камчатке полей с крапивой. Кроме того, сетями пользовались, по меньшей мере, две трети года, а служили они недолго.

Запор состоял из шестнадцати-восемнадцати кольев, колпака, атыри, звеньев атола, кренчела и морды. Запор мог один стоять около берега и потому назывался «бережником». В большерецкой практике запорами перегораживали всё русло реки.

Прежде чем ставить запор, через реку натягивали канат с метками по количеству устанавливаемых сооружений. Потом тянули жребий и приступали к работе. Надо заметить, что лучшим считался запор, установленный первым от берега.

Перво-наперво в грунт возле метки на канате забивали прочный так называемый «передний кол». За ним вбивался «колпачный» кол потоньше, на который при помощи петель надевался колпак, состоявший из двух звеньев с перекладиной, представляя собой как бы полураскрытую книгу, торцом стоявшую на дне реки.

Звенья колпака, шириною полтора и высотой метра два, были решётчатыми. Они состояли из круглых реечек, продетых в отверстия на четырёх планках. Расстояние между реечками для лова, например, чавычи делали не более восьми, а для остальной рыбы — около пяти сантиметров.

Колпачный кол, соединённый с изголовьем колпака, крепился верёвкой за передний, отстоявший от него на полметра. Кроме колпачного кола каждое из звеньев колпака удерживалось ещё кольями, вбитыми возле их середины с внутренней стороны. Прежде чем вбить эти срединные колья, их просовывали в донные петли на звеньях колпака. Вершина же вбитого кола увязывалась верёвкой с верхней частью звена колпака. После этого колпак, стоявший на грунте торцом, обретал большую устойчивость. Теперь на его перекладине, расположенной в верхней части между двумя звеньями, можно было стоять.

Для большей устойчивости колпака и крепления к нему других конструкций, возле крайних планок звеньев вбивали ещё по колу. Их предварительно просовывали в донные петли, привязанные к планкам каждого из звеньев колпака.

С речной стороны такой кол назывался «атырным». На него при помощи петель надевали звено правой атыри, а на второй — звено косога атола.

Звенья атырьев были такими же парными, как и у колпака, представляя собой деревянные решётки длиной около двух с половиною метров. Они состояли из четырёх планок с отверстиями, в которые вставляли рейки шириною четыре сантиметра, отстоявшие друг от друга примерно на три сантиметра.

«Атолинками» назывались отдельные жёрдочки толщиной не более четырёх сантиметров и длиной до трёх метров

с круглою зарубкою на комле. Атолинка переплетались на расстоянии около трёх сантиметров друг от друга тремя рядами верёвок по комелькам, середине и вершинам, образуя звено атола. Звеном косога атола назывался атол, сплетённый веерообразно, где каждая атолинка звена в вершине различалась расстоянием друг от друга в пять-пятнадцать сантиметров, против расстояния такой же увязки в комельках.

Звено косога атола, покоясь вершинами на укосине и упираясь комельками в дно реки, постепенно от конца звена колпака отходило в сторону берега, образуя начало широкого прохода для рыбы. Конец звена косога атола, соединяясь со звеном обыкновенного, погруженного комельками в воду, вершины которого лежали на висевшей жерди, преграждал путь рыбе, идущей против течения. Жердь висела на верёвочных петлях, привязанных к кольям.

Окончание обыкновенного атола соединялось с плетнём, завершавшим преграду всего запора.

Прежде чем описывать другие детали запора, расскажу об устройстве прохода. Вероятно, его конструкция совершенствовалась многими поколениями разных племён.

Отступая от конца бережного звена колпака на расстояние, зависевшее от породы рыбы, возле перекладины вбивали в грунт проходной кол. На этот кол навешивали звено левой атыри. Так между ним и косым атолом появлялся проход для рыбы в колпак. Рыба, идущая против течения, упиралась в полулежащий атол. В поисках прохода она отходила берега, плывя вдоль препятствия на середину реки и, найдя вход, проникала через проход в колпак.

Оба звена атыри, привязанные к четырём вбитым в грунт кольям, завершались горлом «морды». Морда имела два звена решёток, сходящихся в окончании, называвшихся «шаглами». Шаглы, установленные внутри морды, запирали рыбе выход. Имея кляп, при помощи которого морда держалась между двумя кольями, вбитыми около окончания атырь, она свободно погружалась и поднималась. Водное пространство между верхом погруженной морды и уровнем воды запиралось особой решёткой, называвшейся «кренчелом».

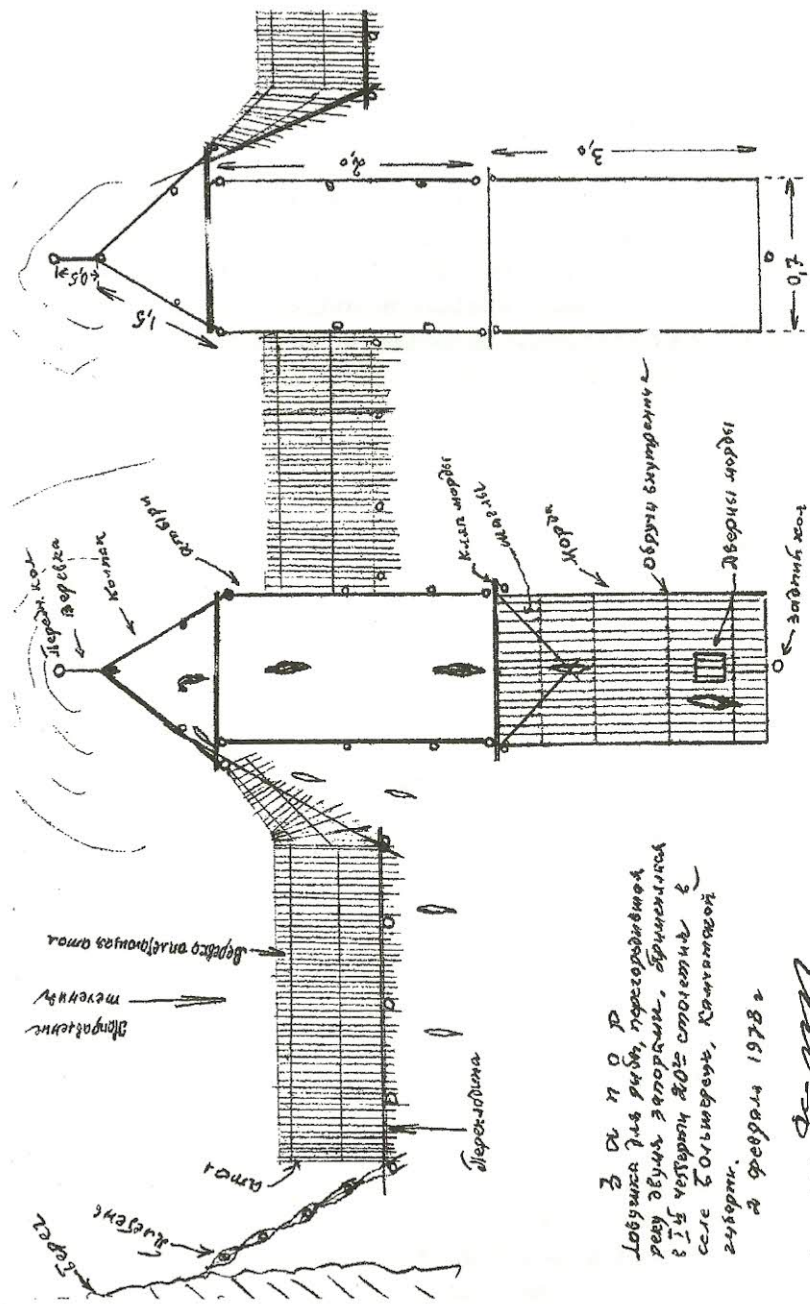
Рыба обнаружив, что попала в ловушку, плыла к шаглам, проникала в морду, откуда ей был один только путь — к рыбаку в бат. Если же рыба оставалась в пространстве колпака и атыри, её пугали «дрелью», напоминавшей по форме деревянную швабру, употребляемую ныне для мытья пола.

Из морды снуюю горбушу доставали крючком, а прочую крупную рыбу, кроме чавычи, убитой обыкновенной дубинкой, — рукой за хвост. Чавычу убивали колотушкой, по форме напоминавшей увесистую кочергу с короткой ручкой, сделанной из сырого дерева. При этом морду полностью из воды не поднимали, так как чавыча могла её искромсать. Бить чавычу по голове следовало насмерть, ибо недобитая рыба могла ударом хвоста выбросить рыбака из бата в воду.

Запор устанавливался при помощи спароженных батов, колья вбивали колотушкой, иначе «бабкой». Ставить запор было делом, в общем-то, нехитрым, а вот суметь сделать удачный проход считалось большим искусством. Каждый вид рыбы требовал своего особого направления течения возле проходного кола, причём ширина прохода совершенно не определяла количество входивших в него особей.

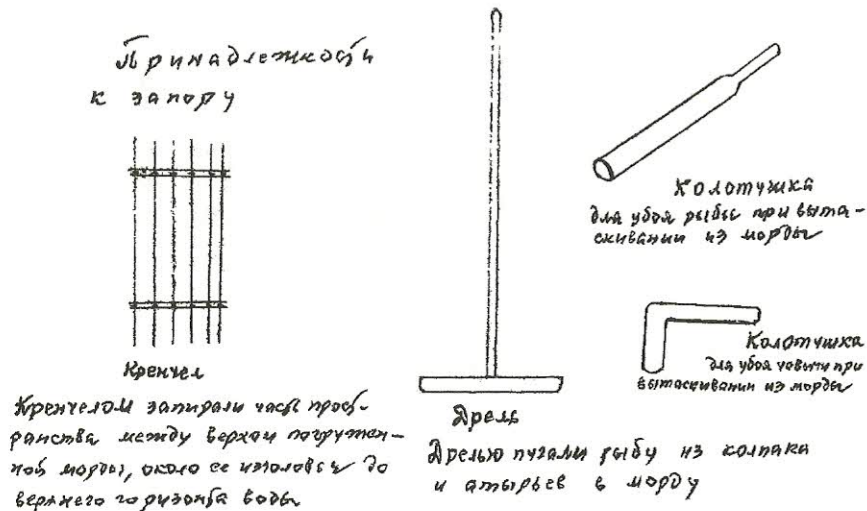
Рыбаку требовалось найти подходящее течение. Он привязывал к шесту отрезок верёвочки длиной метра два и погружал шест комельком в воду у колпачного кола с таким расчётом, чтобы отрезок, натянутый течением, был виден в воде. Отрезок, плававший внутри колпака, вытягивался по течению параллельно береговому звену атыри, показывая расстояние между ним и проходным колом. Вот это-то самое расстояние, измеренное числом пальцев руки, и было нужным. Оно устанавливалось в зависимости не только от вида рыбы, но, в свою очередь, влияло и на количество самцов и самок.

Это было настолько удивительно, что я до сих пор продолжаю над этим задумываться. Представьте себе, что рыбаки перегородили реку запорами. У вас попадаются икрайки, а у соседа — ничего. В следующем, третьем, запоре попадаются только холостые, а вот владелец четвёртого каждое утро вынимает из морды и холостых, и икрайных особей.



Устройство рыболовного запора (рисунок автора)

У кого проход был настроен неправильно, и чавыча не ловилась, тот был вынужден переставлять колпак по-новому, с таким расчётом, чтобы угол течения по отношению к проходному колу пришёлся рыбе, как говорится, по вкусу. Я помню много случаев, когда даже горбуша, шедшая «валом», проस्कальзывая в щели между отдельными атолинами, совершенно игнорировала пришедшийся ей «не по душе» проход. И если в одних запорах за день выгружали из морды тысячи горбуш, а в других попадались только отдельные экземпляры, колпак следовало немедленно переставить.



Принадлежности к запору (рисунок автора)

Я лично постиг искусство установки проходного кола на добычу рыбы сообразно полу, остальное же, будучи подростком, не изучил.

Уборочный инвентарь, применявшийся при доставке рыбы, особенно горбуши, к вешалам, состоял из металлического крючка с короткой деревянной ручкой, пики, деревянного крюка и прутьев молодого ветловника.

Коротким крючком доставали рыбу из морды в бат. Железной пикой освобождали бат от горбуши. При помощи деревянного крюка переносили рыбу, цепляя на каждый по

десять, например, горбуш. Гольцов вязали прутьями по двадцать-двадцать пять штук, продевая их между жаберными крышками. Для этого годились прутья только от поросли ветловника, которые предварительно разминали, скручивая руками.

Вместо грузил привязывали на нижнюю тетиву сети камни, предварительно укрепив их ремешками внутри деревянного ободка. Это делалось с целью предотвращения попадания грузил в крупные ячей и спутывания снасти.

Кроме деревянных поплавков, к верхней тетиве привязывали надутые пузыри диких и домашних животных. Но особенно ценились нерпичьи, превосходившие остальные по величине.

ЗАГОТОВКА РЫБЫ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ

Разные породы рыб ловились в свои сроки. Зимовавшего подо льдом гольца, хариуса и микижу ловили ранней весной после вскрытия льда на реках Плотниковой и Быстрой неводом на появившихся у кос удобных притонениях. В это время холостой голец с песчаной окраской кожи мало отличался от икрянки. Большая часть его отлично откармливалась с осени икрой в протоках и ключах, сплывая на зиму в глубокие ямы больших рек. На мой взгляд, эти рыбы зимой питались ракушками, в изобилии оседавшими на донных камнях. Душистая уха из гольца казалась тогда необычайно вкусной, может, лишь потому, что прошлогодняя рыба за долгую зиму уже достаточно приелась. Большерецкий голец был мельче елизовского.

Кожа хариуса была чешуистой, тёмно-коричневой, его тело — белым, с тоненькими косточками, на вкус сладковатым. Хариус славился своей мелкозернистой жёлтой икрой, целые перепонки которой, посыпанные солью, можно было есть не брезгуя.

Микижа из породы лососёвых была довольно крупной. Она жадно хватала приманку на крючке. Бытовало мнение, что эта рыба ест мышей, поэтому жители относились к ней

с прохладцей. Кунджу, редко появлявшуюся в это время, вообще недолго любили. Она считалась очень постной.

Но вот реки окончательно освобождались ото льда, берега покрывались свежей зеленью, и вслед за уплывшим к морю гольцом появлялась красная. Небольшая чешуя на коже отливала синевой на спине, а по бокам и на брюшке серебрилась. Кумачовой окраски тело встречалось только у неё и было настолько жирным, что из этой рыбы опасались готовить юколу, так как она через непродолжительное время горкла и покрывалась толстым слоем зелёной плесени. Красную даже не солили на зиму, считая очень «кропонькой», то есть предрасположенной к крошению. Из свежей готовили прекрасные супы с картофелем, заправленные дикой зеленью и сдобренные сметаной, но на поджарку она мало годилась, превращаясь на сковороде в жёсткие куски.

Ловили красную запорами и в меньшей мере ставными неводами. Она шла по Большой реке и всем её протокам до устья реки Быстрой, а от этого водного пространства её можно было встретить только в реке Плотниковой и её протоках. По реке Плотниковой она доплывала до Начикинского озера, нерестовалась и умирала.

Словно преследуя весеннюю красную, буквально по её следам шла царица камчатских рыб — чавыча. Она плыла по всем рекам, за исключением тундровых. Там, на устьях, только непродолжительно отдыхала. Такими реками были Амшигачева, Каначева и Начилова.

Кожа у чавычи в начале хода была серебристой и с такими же чёрными крапинками по спине, как у кижуча. Прежде чем приступить к нересту, она подолгу отстаивалась по ямам и плёсам рек (плёс — участок русла реки, более глубокий по сравнению с выше и ниже расположенными. — *Ред.*). Рыба меняла прежнюю окраску на багровую, раздавалась в ширину, достигая, как я уже упоминал, полутора пудов веса.

Тело чавычи, в отличие от весенней красной, нежное, бледно-розовое. Из неё можно было приготовить любое блюдо. Из длинных и узких лент, выкроенных из середины туши, делали лоснящиеся жиром балыки. Широкие брюшки и спинки

толщиной не более трёх сантиметров, отделённые от позвонка, солили на зиму.

Ловили чавычу всеми видами снастей, кроме колющих. Сказывали, что в селе Малки, расположенном в вершине реки Быстрой, её ловили мариком огромной величины. А чтобы проходящую рыбу было лучше видно в воде, на небольшой площади дна стлали бересту или лист белой жести. В Большерецке чавыча появлялась с половины мая по старому стилю и держалась до конца нереста, около двух месяцев.

В это же время в запорах попадалась редкая рыбка величиною с маленькую холостую горбушечку. На её светлой чешуе по бокам выделялись бледно-розовые полосы. Называли её «воровкой» и в пищу почти не употребляли. Из всех рыб она обладала самой большой способностью прорывать отверстие в грунте между колпаком и дном. Таким образом, она не только удирала сама, но и давала возможность спасаться другой рыбе в проделанном ею ходе, за что и получила своё прозвище. Не успевала из рек исчезнуть чавыча, как в запоре уже начинала попадаться летняя красная и хаёк — кета. Эта рыба лососёвой породы, величиной со среднюю амурскую кету, шла около месяца.

Но вот наступал Ильин день, 20 июля по старому стилю, и реки словно вскипали от начала рунного хода горбуши. Его апогей наступал через два дня. Эти даты были настолько точными, что по ним безошибочно сверяли календарь.

В море около устья Большой реки горбуша появлялась на полмесяца раньше. В это время, если глянуть с берега кошки на море, можно было заметить на всём пространстве, которое способен охватить глаз, множество рыбин, выпрыгивавших с поверхности воды. Отблески чешуи в лучах солнца создавали у наблюдавшего впечатление, что рыба, поймавшая струю родной стихии, словно находилась в праздничном настроении. Такой настрой передавался людям. Теперь они были убеждены, что рыбы будет вдоволь, и поэтому с удвоенной энергией приступали к её заготовке.

Прежде чем продолжать повествование о горбуше, уместно сопоставить её значение для большинства камчатских

народов с древней мифологией. Если земля стоит на трёх китах, то жизнедеятельность камчадалов в прошлом держалась на горбуше, упряжке собак и бате. Эти составляющие для их жизни являлись основными.

Итак, рунный ход начался. Теперь горбуша из больших рек устремлялась в малые, а оттуда — в самые маленькие проточки, речушки и ключики. Она набивалась в эти ограниченные пространства так густо, что из воды торчали одни горбы, которые к тому времени у холостых особей увеличивались до пяти сантиметров в высоту. Вырастали порядочные зубы, а серебристая чешуя на спине и боках сменялась тёмно-коричневой. Брюшко же по-прежнему оставалось белым. Горбуши-икряночки назывались «ханайками».

В это время горбушей жировали водные млекопитающие и все земные дикие животные, кроме оленя и зайца. Жители Большерецка, оставив промысел рыбы у Еновского, к концу июля возвращались по домам и приступали к массовой заготовке горбуши на юколу и «кислы» для корма собакам.

По моим подсчётам, в большерецких водах за сезон проходило не менее миллиарда рыб, в том числе девяносто процентов горбуши.

Прежде чем закладывать рыбу «на кислу», старую яму расчищали. Убирали вонючую воду и часть такого же ужасно пахнущего грунта, яму устилали зелёной травой, стеблями крапивы или иными растениями. Яма могла вмещать до пяти тысяч горбуш. Заполнив до краёв рыбой, её покрывали растительностью и слоем земли толщиной не менее тридцати сантиметров. Если слой земли оказывался тонким, на сочившуюся из ямы слизь и кровь мухи откладывали «плевки» — личинки. Из них водились черви, которые, киша тысячами, уничтожали чуть ли не всю рыбу.

Зимой, когда яму с кислой рыбой раскрывали, она распространяла отвратительный запах, ощущавшийся по всему селу не менее двух суток. В новых и небольших ямах рыба сохранялась почти целыми тушками, а вот в остальных она буквально превращалась в месиво, которое собаки ели без особого удовольствия. На нарту с десятком собак и неболь-

шим количеством вольницы приходилось закладывать от пяти до восьми ям «кислы».

В это же время чистили горбушу и на юколу. Большим несчастьем для хозяина оборачивались ясные дни, чередовавшиеся с ненастными. В повлажневшую юколу мухи откладывали свои «плевки», а наступившие вёдренные дни словно инкубировали их, и заводившиеся черви выедали всё тело, оставляя только кости и кожу.

Юколы заготавливали столько, сколько позволяло время и погода. Во всяком случае, количество её колебалось у разных хозяев и зависело от числа собак и определялось в пределах от шестидесяти до ста вязок, в каждой из которых считалось по пятьдесят юколин. Для собственного питания горбушу не заготавливали, так как и без неё хватало более жирной и крупной рыбы. И лишь только снятые узкой полоской с брюшка так называемые «пупочки» иногда жарились в сметане, представляя некоторый интерес взамен брюшков кеты и красной, которые в ту пору сопровождали рунный ход горбуши.

Но вот, ускользнув от острых зубов зверя, преодолев крутые шиверы, порою с оборванной махалкой на хвосте и подносившимися плавничками, горбуша, наконец, достигала желанного родного водоёма. Здесь три года тому назад она, вылупившись из икринок ранней весной, с полой водой покинула свою колыбель.

Расчистив каменистое дно реки со спокойным течением от налёта ила, горбуша приступала к возделыванию нерестилища в виде блинообразного углубления в грунте. К этому времени готовые к оплодотворению икринки легко отрывались от плёнок и перепонки и рассыпались по своеобразному гнезду. Самец обильно поливал икринки молоками, их надёжно прикрывали тонким слоем гальки, защищая от пернатых хищников и гольцов. Великое таинство продолжения жизни и сохранения рода заканчивалось.

Теперь горбуша, как и всякая порода лососёвых, кроме гольцов, хариусов, микиж и кундж, менялась в облики. Хвост и горб лысели, а на плавниках оставались одни кости. Вскоре

вся масса отнерестившейся горбуши погибала и разлагалась, в результате вода приобретала такой отвратительный вкус, что её почти невозможно было пить, а трупный запах распространялся до трёх вёрст от реки. Иная, осев, гнила, залегая толстым слоем хвостами наверх. Берега, сплошь покрытые тушками рыбы, являлись местом кормёжки ставших на крыло птенцов чаек, которые, лакомясь, выклёвывали одни глаза. Мёртвой горбушей питались утки, лисицы, горностаи, соболи и другие мелкие хищники, а называлась она «снёнкой», то есть снулой рыбой.

Эта рыбка средней величины, кормившая, кажется, всё живое, в Большерецке не ценилась. Обилие её в местных водах считалось само собой разумеющимся. Прозрение наступило в грозный 1923 год. В этот год я помнил первый подход горбуши, который превратился в настоящее бедствие как для людей, так и диких животных и птиц, потреблявших её...

Всё лето стояла ненастная погода, реки вышли из берегов, бурные потоки воды снесли запоры, и в результате ограниченное количество горбуши, оказавшееся в большерецких водах, разбрелось по затопленной растительности, а с падением уровня обсохло и погибло. Горбуша в тот год пришла необычайно крупной, но её оказалось очень мало. Видимо, на её величине сказалось обилие корма из-за ограниченного количества рыбы в местах нагула.

Вот как этот недостаток сказался на заготовке кормов. Жители потратили массу времени на лов рыбы, только теперь уже не запорами, а неводами. Несмотря на их старания, корма заготовили наполовину меньше требуемого. Вырисовывалась перспектива голода, а в связи с ним — уничтожение большей части ездовых собак, от которых зависела нормальная жизнедеятельность людей. К счастью, упрочившаяся на местах советская власть, обратившись в соответствующие правительственные органы, добилась изъятия у рыбопромышленников не вывезенной рыбы японского посола с промысловых участков около села Утки. Большерецкие жители не раз ездили туда и привозили гружёные нарты горбуши. Её вымачивали, и тем самым спасли часть собак.

В этот недоходный год жители ничего не заработали на промысле рыбы, поэтому изъятую у промышленников рыбу им предоставили бесплатно, а на покупку продуктов открыли кредит в первом советском кооперативе, организовавшемся в Усть-Большерецке.

На помощь людям пришли власти, а животные и птицы оказались в бедственном положении. Утки, питавшиеся рыбой и икрой, были настолько постными и вшивыми, что их никто не решался отстреливать. Вороны и сороки так обнаглели, что буквально табуном окружали и самым бесцеремонным образом садились на головы женщин, выходящих из изб с тазом помоев на улицу, не дожидаясь, когда они выплеснут содержимое. Не успевала собака съесть свой корм, как наиболее голодные вороны выхватывали скудную порцию еды у неё чуть ли не из пасти.

Вороны, никогда в прошлые зимы не трогавшие корма в балаганах, на этот раз проклёвывали солому и корьё на крышах и, проникая вовнутрь, наносили ощутимый урон запасам сушёной и мороженой рыбы. Эти птицы, жившие среди людей около Большерецка, были такими худыми, что полуголодные собаки-вольницы из числа сук и молодняка остерегались есть их.

Не откормившийся и голодный медведь днём бродил рядом с селом, а ночью подбирался к ямам с кислой и в поисках пицци разрывал их, превращая содержимое в месиво земли с кормом, уже не годившееся для питания собак. При этом яму не оберегал никакой настил из толстых брёвен. Истосковавшийся по еде мишутка с лёгкостью разбрасывал брёвна, а заодно и чучела, так наводившие на него ужас в прежние рыбные годы.

Помню такой случай. Один хозяин услышал ночью отчаянный и тревожный лай собак около балагана. В нижнем белье и торбасах он вышел узнать, в чём дело. Заметив какую-то животину около шайбы, где обычно хранилась кисла, он изо всей силы огрел её вилами. Ответный могучий удар свалил его в грязь, и когда он очнулся, то понял, что это была не лошадь, а медведь. К счастью, свора собак, наступавшая

на голодного и злого зверя, вовремя защитила своего хозяина и кормильца.

В эту пору медведя, бродившего днём и ночью до глубокого снега, били везде: и на упомянутых ямах, и в лесу. Мясо его было без жира, в желудке попадались всякие малосъедобные предметы домашнего обихода.

Один раз мы, плывя на кошку, вблизи её убили медведя, бродившего по морскому берегу. В животе у него оказались обрывки материи от японских халатов, обрезки веревок и пакля. Видно, он съел их, найдя на заводской свалке пропитанными кровью и слизью рыбы.

Вот такую цепную реакцию вызвал недостаток горбуши, этой, в общем-то, скромной рыбки, матушки-кормилицы всего живого по западному берегу Камчатки.

Во время хода горбуши, а особенно в его конце, дружно шла кета и поздняя летняя красна. Последняя имела необычную окраску. Её светло-зелёная голова с крючковатым носом резко отличалась от тела кумачового цвета. Она достигала веса в три-четыре килограмма.

Следом за горбушей, кетой и красной, как бы преследуя их, шёл голец, большой любитель той самой икры, выметанной на нерестилищах. В начале осени самец гольца, сменив серенький цвет, рядился в брачный наряд. До чего же он был великолепен в это время! В отличие от непривлекательной небольшой икряночки, самец раздавался в ширину, половина его тушки до брюшка словно горела ярко-оранжевым цветом. Остальная часть тушки с постепенно переходящей от светло к тёмно-зелёной окраске, являла собой истинный изумруд. С ним контрастировала большая часть спинки, краплёная не очень густыми, но чёрными-причёрными кружочками небольшого размера, то по оранжевому, то светло-зелёному фону мелкой чешуйки.

Брюшные плавники, разукрашенные полосками ослепительно белого, чёрного и кумачового цветов, можно было сравнить с окраской первосортного мармелада. В довершение всего, нижняя остроконечная челюсть заканчивалась своеобразной, словно курительной, трубочкой, которая,

войдя в углубление окончания носа, при надобности запирала весь рот.

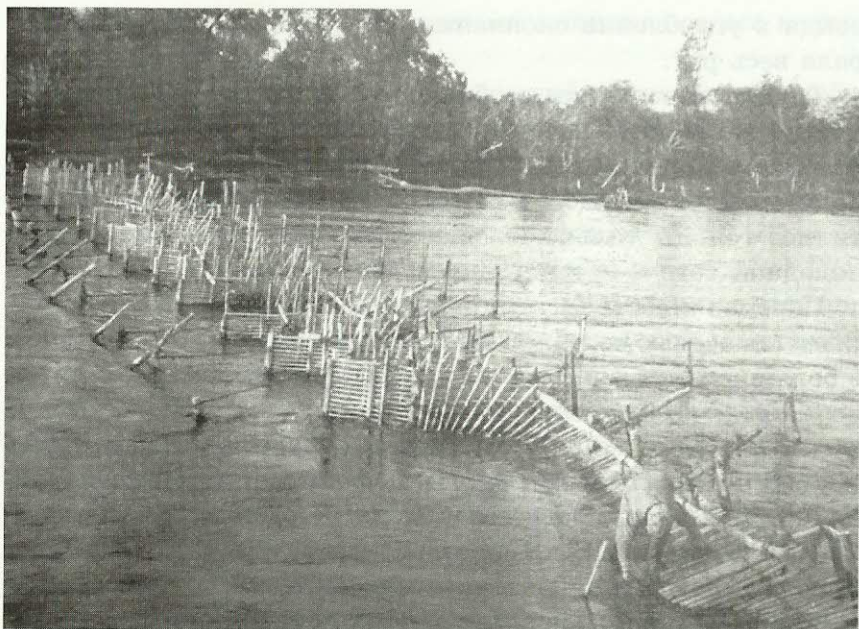
Трудно описать все особенности гольцового наряда. Его можно лишь вообразить, представив в виде мантии фантастического короля древности. Вес такого красавца достигал полутора килограммов, а назывался он «васатинцем». Нерестились гольцы только на плёсах ключей чистой воды, лилодной летом, незамерзающей зимой.

Переменчивость васатинца достойна большого удивления. Выметав осенью содержимое молок, он выплывал из ключей в большие реки. Зимую на их плёсах в ямах вместе с икряночками, к весне превращался в прежнюю серенькую рыбку, почти не отличавшуюся от своей подружки. Видно, наряд ему был нужен для привлекательности, а заодно вместе с необычной формой нижней челюсти — и для устрашения соперников. Осенью и весной гольца ловили во множестве по косам больших рек неводом с частыми ячейками.

Первые гонцы кижуча, шедшие по Быстрой, Плотниковой и другим полноводным рекам, проплывали возле берега в середине сентября, выделяясь среди остальной рыбы тёмно-зелёной чешуёй на спине и серебристой на остальной части тела. Такие же чёрные крапинки на спине, как и у чавычи, роднили их по внешности. В эту пору кижуч был особенно нарядным, а его тело — необычайно жирным.

Славу кижуча портила так называемая «сарана» — белые крупинки, иногда сплошь усыпавшие розовое тело. Такая рыба считалась больной, её заготавливали только на юколу для корма собакам.

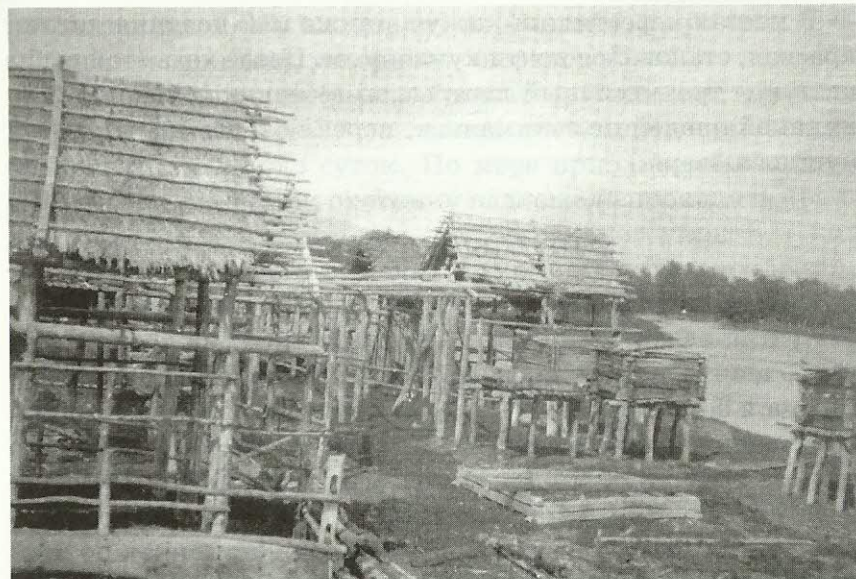
Кижуч в малые речки на нерест заходил не сразу, подолгу отстаиваясь по просторным плёсам больших рек и в их ямах до начала хода шуги. Ловился он до Нового года, в чём было его неоспоримое преимущество перед рыбами других пород, и вот почему. Заходившего в малые реки на нерест кижуча довольно ловили запорами. Там его складывали в шайбы, и он сохранялся в замороженном виде до зимы. Кроме шайб, находившихся на дальних реках в лесу, эту рыбу сохраняли в балаганах, раскладывая по настилу для замораживания.



Рыболовный запор на реке. 1920-е годы



Выборка рыбы из ловушек в баты



Традиционные камчадалские вешала и коптилки



Яма с «кислой» рыбой (все фотографии из фондов КГБУ ККОМ)

В местах нерестилищ кижуч, также как поздняя летняя красная, становился почти кумачовым. После хода этой рыбы наступал трёхмесячный перерыв до весенних гольцов, когда никакой ловлей не занимались, переключаясь на промысел пушного зверя.

ПРОМЫСЕЛ ЗВЕРЯ

С увеличением заберегов (льда, застывшего у берегов. — *Ред.*) и появлением шуги (первого осеннего кашеобразного льда, двигавшегося по воде. — *Ред.*) прекращали ловить гольца в больших реках, а через непродолжительное время завершали заготовку кижуча. Приближалась пора промысла пушного зверя. К этому времени понижавшаяся температура достигала такой отметки, что плывшая ранее плотной лентой шуга превращалась в сплошной покров по всей ширине реки. Наконец она запруживала устье Большой, а оттуда, разрастаясь вверх по течению, выжимала напиравшую из русла воду, которая, широко разливаясь, затопляла прибрежные тальники. Наступал рекостав (реки замерзали. — *Ред.*), а за ним лёд упрочнялся. Теперь, не боясь водных преград, можно было смело разъезжаться на промысел пушного зверя.

Шкурка соболя, нагулявшего за лето жирок, к этой поре покрывалась густым сероватым пухом и длинной шерстью, отливавшей по спинке чёрным блеском.

Охотники за сободем загружали нарты юколой, промысловым снаряжением и, переправившись на пароме через незамерзавшую реку Манаковую, отправлялись на юг, в район подножья сопок Ипильки и Опальской.

Мне лично соболя промышлять не доводилось, поэтому читателю придётся довольствоваться моим изложением рассказов отца и земляков, которых я от них наслушался, будучи подростком.

После выпавшего в канун охоты днём или ночью снежка, с рассветом следующего дня промысловики отправлялись преследовать зверя по следу. Отпечатки следов на только

что выпавшем снегу называли «переногой», а про само преследование по следу говорили: «переножить».

Соболь за ночь покрывал большое расстояние, поэтому выслеживание по снегу на лыжах могло продолжаться от нескольких часов до суток. По мере приближения соболя к каменистым местам, охотнику надлежало проявлять крайнюю осмотрительность, так как зверёк мог укрыться под толстым слоем снега в щелях каменных нагромождений, и тогда ничего не оставалось делать, как, спрятавшись в укромном месте с подветренной стороны, ждать до темноты его появления. При этом избевай Бог, чтобы человек или его верный помощник — зверовая собака — приблизились ко входу в укрытие соболя ближе, чем на выстрел дробового ружья.

Заметив издали место, где спрятался зверёк, охотник должен был обязательно в этом убедиться. Для этого он, не показывая утолку от следов лыж и собаки с тулуном, должен был бесшумно сделать на почтительном расстоянии от входа круг, пытаясь обнаружить возможно существующий второй выход из укрытия. Если он его не замечал, то смело мог удалиться на значительное расстояние, где можно было преспокойненько разложить костёр, сварить чаёк и подкрепиться незамерзающей юколкой с высококалорийным медвежьим жиром, поделившись ею со своим четвероногим другом и помощником. После наступления сумерек охотник в маскирующей камлейке отправлялся с собакой в засаду. Если чуткий слух и нюх соболя не перехватил их дневных шорохов и запахов, зверёк появлялся на выходе с наступлением темноты. Если же он учуял присутствие человека и собаки, то мог в течение нескольких ночей не покидать своего убежища, а если решался это сделать, то вылетал оттуда поздней ночью, подобно пущенной стреле и, не задерживаясь, мчался прочь что есть мочи. Неудачный или запоздалый выстрел мог свести труд одного или нескольких дней на нет. Теперь оставалась одна надежда — на собаку, которая не всегда в темноте и спешке могла выручить хозяина.

Вот какой случай произошёл с моим отцом. Соболя он выследил, спрятавшись в дупле толстой берёзы. Отец отстегнул

собаку от тулуна, вынул из него сеть и укрепил её при помощи сошек в снегу вокруг дуплянки. Подпалил у входа дупла кучку берёзовой коры и стал ждать появления соболя.

Соболь очень боится дыма и потому, учуяв его запах, покидает дупло, взбираясь на вершину берёзы, где его убивают, стреляя самой мелкой дробью. Но бывает и так, что он, пытаясь спастись от явной смерти, погибает от угара и удушья и падает в дымокур.

На этот раз соболь, появившись в вершине ствола берёзы, прыгнул на снег, не задерживаясь. Это произошло так неожиданно и быстро, что отец, держа ружьё наизготовку, даже не успел навести мушку на мелькнувший в воздухе пушистый клубочек. Оправившись от падения, зверёк пустился наутёк, но тут ему путь преградили сети. Подбежавший отец сгоряча схватил запутавшегося хищника голой рукой вместо шейки за туловище. Решётка острых зубов мигом пронзила насквозь большой палец, но отец не выпустил беглеца. Превозмогая боль, он вынул из ножен свободной рукой всегда висевший за поясницей нож и его обушком решил исход схватки...

Соболь — очень осторожный зверёк и в капкан почти не попадает. Он может оказаться в ловушке в том случае, когда ловушка будет замаскирована под кочку на воде ключика, прыгая на которую зверёк преодолевает переправу.

За сезон добывали соболя от трёх до семи голов на двоих.

Кто не занимался охотой на соболя и оставался дома, тот с наступлением переноси выезжал на день за лисицей. Хитрую лису капканом ловить не умели. Добывали её в норе, при обстоятельствах, участником которых я был сам.

Мне было, вероятно, лет четырнадцать-пятнадцать, когда я поздним вечером обнаружил, что зверовая собака Тигра, которую старший брат собирался взять с собой на охоту, по неизвестным причинам оказалась дома. У меня сразу же возникла мысль наедине с ней испытать счастье в погоне за лисицей.

Как только представился случай, я запряг собак, оставшихся на моём попечении, прихватил повеселевшего Тигру, уложил в тулун топорик с лопатой и с первой зорькой выехал к знакомому березняку возле большой тундры.

Там я, закрепив нарту с собаками, надел широкие лыжи, обтянутые нерпичьей шкурой, впряг Тигру при помощи алыка в тулун и отправился искать лисьи следы. Четыре вольницы из числа неезжалых собак погнались за нами. Вскоре мы наткнулись на нужный след. Он был чётко виден в лесу, но когда вывел нас на окраину к тундре, оказался почти полностью скрытым под снегом от начавшейся позёмки. Иногда среди кустарника на тундре я замечал отдельные лунки, по которым, однако, трудно было определить направление следа. В эти углубления, запорошенные снегом, я осторожно всовывал пальцы, пытаясь тем самым определить направление бега зверя. В конце концов густо падавшие хлопья снега с ветром окончательно замели следы, но это меня не огорчило, так как при такой непогоде лисица должна была обязательно укрываться в норе.

Мой взор привлёк одиноко стоявший на тундре небольшой островок из берёзового леса. «Должно быть, она пошла к нему в нору», — подумал я, смело зашагав напрямик.

В густом березняке, поросшим кедровничком, было тихо и тепло, выпавший снег лежал нетронутым. Немного пройдя, снова напал на желанный след. По пухлому снегу брёл медленно, оставляя глубокую колею, в которой, устало переставляя лапы, шли собаки. Вдруг метрах в десяти на поверхности девственного снега появился, словно пламя, клубок рыжей шерсти. Лисица с белой манишкой, стоя на передних лапах, с тревогой в глазах уставилась на меня, а я, замороженный её красотой и неожиданным появлением, удивлённо замер. Ружья у меня не было, и я подумал, что сейчас она ускачет от меня. Но в этом миг вспомнил рассказы о том, что этот зверь боится волков, и достаточно только немного повить, как он нырнёт обратно в нору.

Я вытянул губы и протяжно завыл. Действительно, моя красавица тут же юркнула в нору. Подбежал к устью норы, сунул в неё пару лыж с камлейкой, освободил Тигру от тулуна. Собака с отчаянным визгом стала грызть и разгребать землю. Нарубив затычек и очистив длинный хлыст от сучьев, стал им прощупывать нору, пытаясь обнаружить возможные

иные выходы. Отнорков не оказалось. Тогда я, убрав лыжи и отстранив бесновавшегося Тигру, хлыстом, засунутым в нору, определил направление её хода. Заделав устье затычками, я прорубил над норой первый колодец и хлыстом снова определил направление норы. Так, продолжая неустанно работать, пробил три колодца, уткнулся в два отнорка, ни в одном из которых пропущенный хлыст лисы не обнаружил.

В каком из них должен быть зверь, я задумываться не стал, а призвал на помощь Тигру. Собака, вывалив красный язык и прерывисто дыша, с пущей настойчивостью стала рыть в левом отнорке. Сделав очередной колодец, я услышал в продолжение хода характерный шорох скребущегося существа. Пропустил туда прежний щуп и почувствовал желанный рывок. Сердце радостно забилось. Лисица была совсем рядом. Оставалось ещё немного подкопаться, схватить её в рукавицах за задние лапы, связать их или вывихнуть из суставов, как это обычно делалось в таких случаях, и выбросить пленницу на снег.

Неожиданно возня в норе стихла. Вдруг мне, склонившемуся к норе, показалось, что промелькнула какая-то тень. Я поднял голову и увидел рыжую шубку, стремительно удаляющуюся мощными прыжками. Я отчаянно заулюлюкал, крича собакам: «Тёй, тёй, тёй...»

Вольницы, сладко дремавшие от безделья на талой земле, первыми пустились за беглянкой, а за ними выскочил из прокопа с грязной мордой Тигра и полетел следом.

Я, возбуждённый и разгорячённый земляной работой, в верхней рубашке, спешно надев лыжи, побежал вдогонку по следам умчавшихся. Когда подбежал к границе березняка с тундрой, увидел на окраине леса ожидавшего меня Тигру, а далеко на просторах тундры убегающую вольницу, впереди которой ничего живого не было заметно.

«Видно, успела удрать в соседний тальничек», — подумал я и до крайности огорчённый, не спеша, побрёл следом вольницы, размышляя, что раз собаки не взяли её сразу на неглубоком снегу тундры, то делать в тальнике им нечего, так как лисица, добравшись до ледяного покрова реки Начиловой,

будет недосыгаема. Пройдя так немного, вернулся обратно, остановившись около тревожно повизгивавшего Тигры. Я ударил его изо всей силы мёрзлой рукавицей по морде и со слезами на глазах в отчаянии заголосил:

— Вместо того чтобы тебе, лентяю, бежать вдогонку за лисицей, ты остановился тут и ждёшь меня, бестолковый дурак. А ещё считаешься зверовой собакой.

Уставший телом и душой, я сел на поваленную берёзу и горько-горько заплакал.

Тигра снова подошел ко мне и ласково лизнул прохладные щёки, наполовину облитые солёными слезами. Я обнял его за шею и ещё больше неутешно разрыдался на весь лес, причитая:

— Недосмотрели мы с тобой, кто дома нам поверит, что мы чуть-чуть не упромышили пушнину!

Тигра вырвался из моих, требующих участия, объятий, подбежал к толстой, наполовину склонившейся берёзе и снова призывно заскулил, как бы приглашая меня.

— Неужели, родненькой, ты загнал её в дупло, — вслух произнёс обрадованный я.

Когда приблизился к старой лесине, то увидел на высоте метра от земли скрытый вход в дупло. Заткнув лохматой шапкой вход, я сбегал к норе за оставленным снаряжением и одеждой и примерно через час выволок из дупла огненно-рыжую лису.

Снятую шкурку я молодецки подцепил за пояс, а жирную тушку за верную службу отдал Тигре, но он, к великому моему удивлению, так много и яростно трудившийся, даже к ней не притронулся. Мясо пришлось скормить не имевшей никакого понятия об охоте четверёрке неблагодарной вольницы.

На промысле зверя приключалось всякое. Это не минуло и меня с отцом. Во всяком случае, добыча соболя и лисицы упомянутыми способами являлась для большещерецких охотников традиционной.

Кроме огненно-рыжих лисиц, которых было очень много, в весьма и весьма ограниченном количестве водились «замарашки», «крестовки», «сиводушки», чернобурки и чёрные.

Рыжий цвет шерсти у «замарашек» был, действительно, как бы чуть-чуть испачкан — затемнён. Замарашки с тёмным крестом на спине назывались «крестовками». Лисицы с тёмно-серебристой окраской шерсти именовались «сиводушками», с чёрно-бурой — «чернобурками», а совсем чёрные — «чёрными». Добыча последних почиталась за великое счастье.

Сказывали, что будто бы встречались лисицы чисто огненного цвета — «огнёвки», ценившиеся выше всех остальных, но я лично их не видел.

Выдру добывали круглогодично, но в ограниченном количестве. Она попадалась в капканы, выставленные на кочках или мысочках при выходе из воды, где она оправлялась, и чтобы упрятать свои нечистоты, нагребала на них горку из грунта, как кошка. Это, очевидно, делалось с целью сокрытия своего присутствия.

Приближаться к месту выхода выдры из воды на берег следовало не сухопутьем, а по воде, бродом или на бату. Лучше всего капкан надлежало ставить в воде, перед вылазом. На суше же, подле вышеупомянутой горки, капкан ставили в исключительных случаях, оставляя покрытым грунтом, причём после завершения этой операции на место ловушки следовало слегка плеснуть воды, избегая при этом нарушения знакомой выдре обстановки. Тогда веерообразный выплеск воды не только сглаживал неровности грунта, оставленные после насторожки капкана, но и уничтожал запах побывавшего здесь человека.

Рассказывали, будто бы плававшая или бегавшая по суше выдра издавала звук, напоминавший свист. Щенилась она, надо полагать, по берегам рек в норах, которые я сам видел на реке Начиловой.

В воде выдра — лучший ныряльщик и пловец, а вот ходить по суше она — специалист небольшой. Иногда ей приходилось перемещаться зимой по снегу из одного водоёма в другой. Образуя на пороше льда словно мазки от волокна шерстистого брюха, на пушистом же снегу она оставляла лоткообразное углубление, медленно продвигаясь вперёд.

В таких случаях беспомощная выдра становилась лёгкой добычей зверовой собаки или её хозяина.

Волков в Большерецке знали мало, водились они далеко от охотничьих угодий, и их не промышляли.

Росомах убивали случайно. Этот ловкий, сильный и хитрый зверь иногда попадался в капканы. Поздней осенью, перед охотой на соболя, во время отсутствия перенюги, случалось добывать медведя или оленей. Их мясо укладывали в небольших шайбах на столбах или высоком дереве. Вскрабавшись по стволу или столбу, крепкозубая росомаха прогрызала в шайбе отверстие и, проникая в него, поедала мясо, за что охотники её ненавидели и считали вредным зверем.

Промыслом зайца и горностая, как я уже упоминал, взрослые не занимались, считая это занятие неоправданной тратой времени.

За дикими баранами ездили весьма редко и охотились зимой в скалистых местах возле Опальской горы. Там бараны поедали мох на обросших камнях, укрываясь от лютых морозов и бушующей пурги за выступами скал, временами греясь в лучах солнца.

Мясо барана с чередующимися прослойками жира, нежное и вкусное. Из его огромных широкополых рогов изготавливали «колтоны» — табакерки для лемешины.

Мясо дикого оленя являлось значительным подспорьем в рационе питания жителей. Его били из нарезного оружия глубокой осенью, когда управлялись с заготовкой сена и горбуши для корма собак. К этому времени гнуса становилось меньше и откормившиеся стада оленей спускались с хребтов к их подножью и на тундры, где их и промышляли.

Ездили верхом на лошадях и добывали оленя столько, сколько оленьего мяса лошадь была способна доставить как поклажу во вьюках.

Второй период охоты на этого густошерстного зверя наступал зимой, после охоты на соболя, и тоже на тундрах.

Когда к стаду нельзя было подступиться, тогда стреляли поверх голов оленей, по возможности в лес. В этом случае животные поворачивали свой бег от охотника назад к нему,

где и становились его добычей. Мясо добытых оленей в эту пору вывозили нартами, запряжёнными собаками.

Нерпу промышляли, кроме костяной пики, о которой я уже упоминал, ещё и огнестрельным оружием на кочках, где звери, греясь в лучах солнца, отдыхали, выйдя из воды.

Ценилась шкура этого животного, из которой делали выкройки на лыжи и вырезали длинные ремни. Шкуру снимали, как рубашку тулуном, и раскраивали по окружности на ремни требуемой толщины.

Не менее ценным оказывался и плавкий жир нерпы, на котором повседневно жарили рыбу. При его перетопке, как и медвежьего, отходили «выжарки», которыми лакомились в основном дети, словно хрустящим хворостом, изготовленным из пресного, обжаренного в масле теста.

Киты вблизи берега Охотского моря не водились, и за ними не плавали, но случалось, что на кошку выкидывало их туши. Тогда из них вырубали рёбра, выделявая впоследствии подползки, которые были незаменимы при езде на нартах во время неcati — мокрого снега.

Как только весенний снег начинал покрываться коркой наста, с появлением полянок выезжали на собаках в хребты за медведем, уже вылезавшим к тому времени из берлоги. Несмотря на долгую спячку, мясо его в ту пору всё ещё оставалось жирным и почти совсем не отдавало рыбой, а у сосунков было мягким и приятным на вкус. Этому способствовал, очевидно, тот факт, что косолапый, отъевшись за лето на рыбе, перед заходом в берлогу какие-то дни лакомился одними ягодами и орехами на кедровнике.

Из пропарившегося входа в берлогу на склоне горы, направленной к солнцу, медведь выходил ранней весной, делая небольшие прогулки по поляночкам в поисках корней. Теперь его, как и оленя на тундре, помогал обнаружить случавшийся бинокль.

По разводу медведь удирал от охотника стремительно, как по воде, а вот по насту его вмиг настигали спущенные собаки, которых держала на поверхности слабая корка подстывшего снега. Грузный мишутка после нескольких прыжков, запыхав-

шись, садился, защищая зад от наседавших собак. В такой ситуации он становился лёгкой добычей охотника.

Но не всегда преследователям сопутствовала лёгкая удача. К задержанному зверю надлежало приближаться нартами, не ближе, как на дальний выстрел пульного ружья и вдвоём. Один охотник при этом оставался с упряжкой собак, крепко закреплённой на месте, а второй катил к медведю на лыжах для ближней стрельбы.

Бывали такие случаи, когда каюр, не будучи в силах справиться с упряжкой разъярённых собак, всей ватагой наезжал на рассвирепевшего великана. Тогда тот рвал кукуль и всё, что попадалось: снаряжение, одежду, кромсал нарту и расправлялся с запряжёнными собаками. Беда могла постигнуть и незадачливого каюра, если он, удерживая нарту стиснутыми руками за копылья, сам волочился по снегу, не отпускаясь, до опасного сближения с затравленным медведем.

Шкуру с чёрно-бурой окраской весеннего медведя иногда стелили вместо половика на полу в избе. Из части кожи, от лап до колен, вырезали не знавшие износу ремни, которые в основном расходовались на обвязку нарты.

Медведя различали по полу и возрасту и называли: самца, достигшего полного возраста, — «секачом», половозрелую самку — «матухой», годовалого медвежонка — «сегодушкой», второгодка — «лоншаком».

Интересной, опасной и полной страху считалась охота на летнего медведя.

С наступлением погожих дней, по мере освобождения земли от снежного покрова и появления зелени, медведь приближался к рекам, вынюхивая по косам занесённую илом и песком прошлогоднюю снёнку. В ожидании хода горбуши в эту пору он спускался с верховьев в районы устьев рек Быстрой и Плотниковой и ниже — на Большую.

За первыми гонцами рыбы он, голодный, потеряв всякую бдительность, носился по воде на шиверах около берега кос только что упомянутых рек, днём и ночью, не опасаясь чело-века. Однако, с постепенным утолением голода, после захода горбуши в реки средней глубины, медведь перекочёвывал

туда, выискивая берега, заросшие лесом и другой растительностью. Теперь он выходил на кормёжку перед закатом солнца и промышлял рыбу до раннего утра, съедая до сорока горбуш за раз.

Но вот животное отъедалось всё больше и больше, толщина его жирового покрова достигала четырёх пальцев, и теперь он выходил к реке только глубокой ночью, почти бесшумно и с величайшей осторожностью. Не ломая сучьев под лапами, не шурша растительностью, делал несколько шагов и замирал, прислушиваясь. В это время сплошная утолока на крутых берегах и наличие в воде массы несъеденных шаглов горбуши, а также множество отпечатков следов лап на тине выдавали место его постоянной кормёжки. Тут можно было караулить его ночью, но самым излюбленным способом охоты в эту пору считалось бесшумное и тихое плавание по воде на одном или двух спаромленных батах, заставая в темноте пирующего медведя среди сотен горбуш.

Пожалуй, будет лучше, если я опишу свою охоту в такое время. Работая в Большерецком совхозе со старшим братом, в выходной день поплыли мы на бату к реке Якутовой за медведями. Свернув с реки Быстрой в протоку Отцовскую, заметили утолоку. Решили ждать, спрятавшись в корях — корягах — для караулки.

С закатом солнца нам показалось, что как будто бы треснула сухая хворостинка. Подождав немного, проверили и установили, что зверь, действительно, приходил и был готов спуститься на воду к рыбе, но, очевидно, хватив постороннего запаха, бесшумно скрылся. Мы зажгли спичку и по направлению пламени и дымочка поняли, что ветер тянул тут, вблизи широкой реки, на повороте, в неблагоприятную для нас сторону.

Недалеко от выхода полуглухой и неширокой реки Якутовой услышали возню медведя в высокой так называемой «гусиной траве», обычно торчавшей прямо из воды около отлогой косы без растительности. Таким образом, этот обросший пяточок, находясь на открытом пространстве, как на ладони, в глубине нисколько не просматривался. Мы при-

стали к противоположному берегу и взяли карабины наизготовку, ожидая появления затаившегося зверя. Прождав минут пятнадцать, не выдержали ожогов назойливого мокреца и поплыли дальше. Не успели свернуть за кривляк, как услышали чавканье по тине лап медведя, спешно уходящего с того самого места, откуда мы ждали его выхода. Своим терпением и осторожностью животное перехитрило нас.

В наступившей темноте поплыли дальше, услышав вскорости сопение и необычный всплеск воды. Зажгли фонарь и, плывя, стали прислушиваться и приближаться к мишутке, промышлявшему рыбу. В это время нос нанесло на подводную кочку из гагая, и бат остановился. Ничего кругом не видя, я навёл фонарь на звук, исходивший от фыркавшего существа. Луч света отразился от его злых, мгновенно погасших глаз. Медведь поплыл к берегу, не спеша забрался на него, сердито пофыркал и, недовольный, отправился в гущину леса. Застрявший бат не позволил нам сблизиться с ночным рыбаком и к тому же из-за дальнего расстояния свет малосильного фонаря не мог помочь нам, поэтому стрелять наугад мы не стали.

Проплыв дальше за пару плёсов, услышали тяжёлые вздохи. Медведь, видно, был большой. Страшный хруст зубов и чавканье слышались совсем рядом, где-то под лохматыми ветками склонившейся над водой могучей талины. Я поднял из укрытия горящий над батом фонарь. Фитиль его догоревшей свечи упал в расплавленный стеарин и потух. Кругом воцарилась кромешная тьма. Не желая упускать возможной удачи и боясь опасного сближения с зубами и мощными когтями потревоженного хозяина здешних мест, я, сидевший в носу бата, выстрелил в темноту наугад. Страшный шум воды и каскад брызг обрушился на нас. Одним прыжком медведь преодолел подъём крутого яра. Ломая сучья и сухостой, с треском и шумом он умчался, стихнув в глуши.

Неудача преследовала нас недолго. В туманной зорьке мы снова услышали знакомые всплески возившегося в воде косолопного. Отчётливо были слышны тяжёлые вздохи и хлопанье воды, но проклятый туман, густо державшийся в узкой

реке и под нависавшими деревьями, не позволял рассмотреть объект нашей охоты. Наконец в серой мгле я заметил пятна, отличавшиеся от остальной среды, напоминавшие бесформенное облако. Не дожидаясь опасного сближения, я нажал на спуск и разрядил карабин, надеясь на удачу. Раздался короткий рёв смертельно раненого зверя, снова зашумели дудки шеломайника, затрещал падавший сухой, и захлёбывающийся хрип стих.

— Попал, попал! — воскликнул обрадованный брат, вставая на шест. — Прижимай бат к берегу, будем следить.

Перспектива идти по следу раненого зверя сейчас, в крошечной тьме, меня не радовала. Я и без того натерпелся страха за время тревожного ночного пути, попав чуть ли не в самую пасть хищника. Но делать было нечего: я младший, должен был показать храбрость настоящего охотника, а то меня, Бог знает, как засмеют.

Из сущняка настрогали курчавых стружек, и брат, раздвигая шестом густо поросший в рост человека шеломайник, пошёл рядом со мной, вооружённым карабином.

— Видишь, кровь, — показывая испачканные листья на высоте около метра от земли, подбадривал меня, трясущегося от животного страха, брат, — должно быть, ловко попал.

Мы шли медленно, постоянно останавливаясь и прислушиваясь. Временами стружки сгорали, и мы, не успев зажечь новые, оставались наедине с мраком. В эту минуту казалось, что сердчишко моё переместилось куда-то под горло и яростно стучит, умоляя прекратить это ночное и опасное преследование.

Вдруг в конце узкой раздвинутой щели в растительности мы заметили тёмно-бурую массу. С особой бдительностью приблизились, брат ткнул неподвижную тушу шестом, она чуть всколыхнулась и замерла. Оказалось, я попал медведю в лёгкое.

Тут же разделали тушу, отварили нежную грудинку, запили наваристым чаем, пахнувшим дымком, и усталые, но довольные удачей, встали на шесты и засветло дошли до дома на гружёном бату.

Тогда охота на зверя считалась делом обычным, и я, как и все молодые люди, даже гордился удачей. Однако в данное время, начитавшись гуманных книг и наслушавшись нравоучений по телевидению, вряд ли возьмусь за оружие, которое у меня давным-давно лежит без пользы на попечении заботливой жены.

Этот рассказ во всех отношениях характеризует промысел медведя в ту пору.

Из привезённой добычи охотник наделял попа, учителя и пристава, родных и близких большим и лучшим куском свеженины, говоря при этом: «Возьмите на супчик». Слову «на супчик» придавалось такое значение: дающий, как бы умаляя величину подношения, ничуть не страдает от такой потери, преподнесенной уважительно, сердечно и по-дружески.

Из тонкой кожи на брюхе медведя и его камусов — шкуры от лап и до колен — вырезали ремни, а остальная часть шла на подошвы.

Раненый медведь опасен. Бывало, охотники гибли. Зверь нападал также и тогда, когда, как говорится, лицом к лицу неожиданно встречался с человеком в месте кормёжки. При встрече на дальних расстояниях медведь на людей никогда не нападал, спасаясь от них бегством.

В отдельные годы, весной, бывали случаи, когда рогатый скот приходил из леса с отметинами медвежьих когтей на боку. Сказывали, что однажды бык принес в село медведя на рогах.

Курьёзных случаев, приключившихся при охоте на этого царя камчатских зверей, можно было бы привести предостаточно, но я хочу рассказать об одном. Зимой охотник на соболя катился по склону сопки на лыжах. Лыжи его неожиданно стали проваливаться, и он вместе с ними задним ходом скатился в отлогое углубление. В темноте услышал возню и понял, что провалился в берлогу.

Полусонный медведь, учуяв лаявшую собаку, пожелал её проучить и попытался вылезти из берлоги, но обледеневший выход не позволял. Когти скользили по льду, и зверь скатывался обратно на дно берлоги.

Желая поскорее избавиться от опасного соседства, при очередном скольжении охотник подпёр руками зад проснувшегося засони. Эта помощь недотроге не понравилась, и он ударом по плечу охотника упредил его новые намерения.

Наседавшая собака, запряжённая в алык, пристёгнутый потегом к тулуну, не давала хищнику покоя. Тот, наконец, выбрался и расправился с ней. В этой неравной схватке преданное хозяину животное погибло, спасая человека от верной смерти.

ПЕРНАТЫЕ И ИХ ОТСТРЕЛ

Доля диких уток в рационе питания большеберцовых жителей была незначительной, хотя их прилетало весной и оставалось зимовать предостаточно. За ними охотились во время весеннего перелёта, плавая на батах, и зимой по не застывшим рекам, выезжая нартами собак на один-два дня, а в году, в общей сложности, не более пяти-шести суток.

Считалось, что перевод времени и денег на патроны для дичи не оправдывает материальных и трудовых затрат, далеко несопоставимых в сравнении, например, с добычей туши медведя или оленя.

Зимовать оставалась одна порода кряковых, называемых «селезнями-зимовщиками», да крохали и гоголи. Надо сразу оговориться, что весь род кряковых в Большеберцке почему-то называли «селезнями», не различая самочек и «мужичков».

Большие полыньи по рекам Плотниковой, Быстрой, да и на самой Большой являлись их излюбленным пристанищем, где они дневали тысячами, плавая и отсиживаясь на краях льда, временами оглашая пространство дружными криками: «Ка-ккк-ка!»

С наступлением сумерек вся стая в виде отдельных табунков, парами или в одиночку разлеталась по мелким не замерзавшим речушкам и ключикам на кормёжку и сон, оставляя на зорьке круглые ямки в грунте, величиною с вазочку, где они с вечера выбирали икру, червей и ракушки, или

ростки гагая — водного растения. Их отстрел вечерней порой в таких местах назывался «караулкой».

Иногда жестокая пурга сгоняла дневную стаю с полыней больших рек в меньшие речные пространства, где они отсиживались около яра, под нависшим козырьком снега, надутого ветром.

Кряква — птица осторожная и хитрая. Бывало, подойдёшь на лыжах в камлейке к такому обрывистому берегу и уходишь, ничего не обнаружив. Но как только удалишься на почтительное расстояние, так и увидишь с шумом поднявшуюся пару. Поэтому в таких случаях охотник, подбравшийся к возможному месту днёвки уток, производил шорох, обозначая свой уход. Обманутые хитрецы взлетали, и тут выстрел с близкого расстояния сражал их налету.

Неслись утки ранней весной в прошлогодней траве, ещё не освобождённой от снега, откладывая до двенадцати крупных яиц с белой окраской.

Зимовали крохали двух пород. Один вид самцов отличался особой раскраской перьев. Величиною с добрую казарку, с обтекаемым туловищем, он был покрыт оперением резко контрастного цвета. Светло-жёлтый жилет на брюшке доходил до основания крыльев, где резко сменялся чёрным цветом, покрывавшим всю спинку. Часть шеи и всю голову с длинной косой украшали густые чёрные перья, тогда как перепончатые лапы выделялись кумачовым цветом. Длинный и узкий клюв с острыми зубринами, чёрный сверху, с изгибом на конце, был незаменим при захвате мальков, которых крохаль, будучи прекрасным пловцом и ныряльщиком, предостаточно ловил на дне водоёмов. Эта птица привлекала внимание как отдохавшей на забере, так и при полёте в голубизне неба. Яйца цвета слабого кофейного напитка крохали откладывали по дуплам, также как и вся их порода, прилетавшая весной.

Гоголей отстреливали так же, как и крохалей: днём в полыньях, а вечерами — на караулке по плёсам спокойных и глубоких рек. Кормился гоголь ракушками, прилипшими к донному кругляку, глубоко ныряя за ними. Гоголей зимовало

тоже две породы. Гнездились эти стремительные в полёте птицы в дуплах берёз на вершинах, в значительном расстоянии от рек, иногда даже в посёлке.

Кроме уток зимовать оставались лебеди. Собираясь в табуны до семидесяти птиц, они дневали на обширных тундрах с хорошим обзором. Редко парами или небольшой стайкой держались на плёсах больших рек, отдыхали там, наблюдая за открытой местностью.

С наступлением глубоких сумерек лебеди отправлялись в просторные ключи или небольшие реки со спокойным течением. Там они кормились, выкапывая в грунте сильными перепончатыми лапами углубления величиною с круглый поднос.

Отдых лебедей на открытой тундре временами прерывался многодневной пургой, тогда они, покинув насиженные места, перелетали в укромные водоёмы.

Один раз, в пургу, отец подъехал к ключу и пошёл на лыжах проверить брод с оштелом — ручным тормозом нарты с плетью и металлическим наконечником. Неожиданно против ветра в его сторону из-за поворота обрывистого берега поднялась с воды пара лебедей. Тяжёлые на взлёте, они подлетели к нему так низко, что он плетью оштела сбил одну птицу.

Другой раз лебеди отдыхали, укрывшись от пурги в крутоберегом узком ключе. Казалось, тут их никто не мог потревожить. Однако они неожиданно взлетели, тревожно гогоча. Вскоре один из них, беспричинно отклоняясь в разные стороны, камнем упал на снег. Когда к нему на лыжах подкатили охотники, возле птицы они нашли горностаю, который, видно, охотясь, прыгнул с обрыва на плававшего лебедя, тем самым вспугнул его и умертвил в полёте, перекусив горло.

Лебедь — птица очень зоркая, сторожкая и в то же время весьма благородная. Мы различали их по окраске оперения. Одни были чисто белые с чёрным клювом и такого же цвета лапами, другие — грязно-серые. Улетая весной на север, там они, очевидно, и неслись.

С наступлением весны, после полного освобождения рек ото льда, в конце апреля, появлялись прилётные утки, чирки, шилохвосты, свижи, кряковые, косатый селезень, несколько пород крохалей, две породы чернедей, каменушки и другие утки. Начиналась прекрасная пора. Всем надоевший снег долгой зимы почти весь стаивал. День значительно увеличивался, яркое солнце, ходившее по голубизне неба, грело щедрее, на обнажённых берегах появлялись первые подснежники и кукушки шеломайниковых пучек, от чего на душе делалось тепло и радостно, люди веселели и становились добрее.

Число перелётных уток со дня на день увеличивалось, они тучами садились на спокойные плёсы ещё не набухших рек, заполняли уютные и тихие курьи и там крякали, свистели и пищали на все лады.

Бывало, пойдёшь в эту пору к вечеру на караулку к знакомой заводи со стареньким ружьишком, поудобнее усядешься на примятую кучку прошлогодней травы и сидишь, ждёшь прилёта уток, слушая свист крыльев перелётных табунов. А кругом — хорошо-то как! Вечерняя зорька светит мило и долго. Всё видно, в тишине стоячего воздуха далеко слышен и радостный пересвист шилохвоста, и призывное кряканье прилётной крякушки, и перезвон свистунов-чирков. Опустится около тебя стайка нетерпеливых чирков, осмотрится и начнёт кормиться, тут бы в их кучу и стрелять, а рука и не подымается.

«Зачем, — думаешь, — убивать животинку, ведь у неё сейчас, наверное, вся душа поёт, великая радость по случаю прибытия из далёкой чужбины на любимую сторонку. Может, бедная птица под крыльями мозоли набила, летя к большерецким водам, смертельно устала, присев отдохнуть, а ты в неё: бу-бух».

Так и придёшь домой ни с чем, но зато с какими песнями в душе и хорошим настроением от сознания сотворённого добра в эту прекрасную пору, когда вся природа вокруг тебя, торжествуя, возносит гимн вечной жизни.

Плавали отстреливать только чернедей, да и то далеко не все мужики, а лишь отдельные охотники, вдвоём на одном

бату. Они добывали несколько десятков уток и через пару дней возвращались домой. Чернедь — птица бесхитростная, скопляется по курьям в большие табуны, пролетает, не боясь человека, на близком расстоянии и кучно. В результате временами их выбивали из стаи до пяти-семи птиц.

Яйца чернедей окраской напоминали густой кофе с молоком. Неслись чернеди в гнёздах, небрежно устроенных на стеблях прошлогодней травы около воды.

Уток других пород добывали как сопутствующих чернедям.

Кряковые откладывали яйца на земле в редких лесах, под корягою и реже всего на корнях коры по косам.

Самцы всех видов уток отличались от одноцветного оперения самочек разномастной и многообразной окраской.

Не останавливаясь на достоинствах и внешности уток отдельных пород, полагаю нужным познакомить с разновидностью крохалей, называвшихся в Большерецке «сакшейками» и «лентяями».

Сакшейка отличалась от остальных крохалей своим оперением по бокам и на спине, словно напоминавшим чешую крупного сазана. Сличив виденное с рисунками в книгах и чучелом в музее, я пришёл к твёрдому убеждению, что сакшейка есть ни что иное, как чешуйчатый крохаль, считающийся редкостной птицей. Но тогда в Большерецке их прилетало порядочно, да, наверное, не вывелись они и сейчас.

«Лентяй», прилетавший в середине мая, вскорости терял крупные перья на крыльях и мог передвигаться только по воде, ударяя по ней лапами и култышками крыльев, удирая от опасности со скоростью галопирующей лошади. Нырял он подолгу и выныривал на значительном расстоянии от преследователя. За то, что эти птицы не могли летать до отлёта в жаркие страны, их и прозвали «лентяями». Они водились по островкам песчаных кос, где большей частью сидели, временами переключаясь на добычу мальков.

Прилетали кулики разных пород. Самых маленьких мало кто различал, да ими и не интересовались. Одна разновидность таких куличков числилась у охотников в помощниках. Сидя на караулке медведя или плывя по реке в поисках его,

охотники слышали тревожный крик кем-то согнанных куличков. Сомнений не оставалось: их мог напугать только медведь, вышедший из зарослей на песчаную косу.

Рыженьких куликов, размером чуть меньше чирка, называли почему-то «девчонками». Они, не опасаясь присутствия людей, паслись на песчаной косе против бабы, мывшей посуду на речушке, обыкновенно протекавшей в непосредственной близости от избы. Сюда они прилетали из тундры, наевшись спелых ягод шикши, за ракушечками с обросших камней. Такой же образ жизни вёл и тувик — длинноносый и длинноногий кроншнеп, избегавший такого сближения с человеком, как доверчивые «девчонки».

Гагары прилетали двух разновидностей. Одна меньшая, с рыжим оперением, гнездилась, как я примечал, в реке Каначевой. Всю ночь эта птица голосила, издавая продолжительные и раздражающие звуки «А, а, а!», напоминавшие голос человека, погибавшего от холода.

Вторая, краснозобая гагара, прилетала парами или в одиночку, собираясь иногда на воде до трёх-пяти птиц, где они затевали брачные танцы. В это время их голос напоминал плач наказываемого подростка, поэтому, услышав их оргии, взрослые говорили: «Дети гагары украли пенки от варёного молока, за что их и наказывают».

Искусный ныряльщик, гагара совсем не могла взлетать при попутном ветре и ограниченном водном пространстве. Бывало, появишься на бату в устье узкой курьи, а она, боясь людей, полетит через косу. Смеху не оберёшься, наблюдая, как она, упав с низкого полёта на сушу, кубарем по несколько раз обернётся и сидит беспомощная с разинутым ртом, озираясь кругом.

Гагары откладывали яйца на плавучих гнёздах в озёрах или тундровых реках с медленным течением. Насобирав в большую кучу прошлогодней травы, птица вила подобие гнезда, куда и откладывала яйца. В случае появления недруга яйца летели в непрозрачную воду, сама же гагара незаметно ускользала под водой. По прошествии опасности кладка снова появлялась в том же гнезде.

Речных крачек называли «мартышками». Они отличались большим мастерством ловить мальков, ныряя в воду с высоты полёта. Откладывали в вырытых ямочках на косах по три рябеньких яичка. Неопытному сборщику было трудно отличить их от гальки, поэтому по его следу проходил знающий, обыкновенно пожилой человек, подбирая ненайденное.

От повсеместного появления мартышек на реках и криков «пи-и-ир, пи-и-ир...» на душе становилось радостно. При появлении человека на косах, где они гнездились, птицы взлетали, кружились и кричали до тех пор, пока сборщики яиц не уходили. Временами они снижались, пролетая над головой, пытаясь тем самым отогнать посягавших на их будущее потомство.

Чайки появлялись ранней весной первыми и осенью улетали последними. Их появление знаменовало конец зимы и приход весны. Недаром про эту белоснежную и краснолапую птицу с незапамятных времён пелся куплет:

*Чайка бела, ноги красны,
Где ты долго весновала?*

Эти птицы водились во множестве, разных пород, с разнообразной окраской оперения. Чайки были с чёрной головкой, покрытые перьями серо-грязного цвета, размером от чирка до большого крохалея. Весьма редко попадались маленькие чаечки с нежно-розовой окраской перьев на брюшке.

Конусообразные яйца, величиною с утиные, откладывали в хорошо свитых гнёздах на корнях кокор в таком же количестве и такого же цвета, как у мартышек. Их, как и крачек, можно было вынуждать нестись больше, систематически собирая яйца.

Брать утиные яйца избегали, а вот яиц крачек и чаек я сам приносил до пятисот штук за день. В прошлом яйца, сказывали, собирали по целому бату на острове возле устья Большой реки, но впоследствии, во время русско-японской войны, японцы подожгли этот бесценный клочок земли и с тех пор пернатые, ранее гнездившиеся там тысячами, покинули

его. Этот остров С. П. Крашенинников упоминал в своём труде «Описание земли Камчатки».

Осенью, когда молодые чайки твёрдо становились на крыло, все косы рек Быстрой, Плотниковой и Большой сплошь покрывались тысячами днюющих птиц. Их продолжительный и тоскливый крик возвещал о начале расставания пернатых с родными реками, их будущем перелёте в те далёкие места на юг, которые они будущей весной, гонимые извечным инстинктом, полученным от бесчисленных прошлых поколений, покинут без сожаления и снова полетят сюда одними им известными путями, чтобы здесь вывести потомство. Дума о расставании с ними наводила тоску и печаль о предстоящей долгой и снежной зиме.

Теперь они каждый вечер на закате солнца небольшими табунками поднимались с кос и летели длинными, временами прерывающимися лентами над руслами главных рек на ночь к лайдам устья Большой реки, чтобы там, переночевав в безопасности, рано утром снова вернуться к большерецким водам, подкормиться и отдохнуть. Наблюдать такие ежедневные перелёты этих вольных птиц доставляло большое удовольствие. Они наводили грусть и вызывали зависть.

Тогдашние большерецкие реки трудно было представить без птиц, будь то в воздухе или на воде, зимой или летом. Птицы оживляли окрестности, доставляли великую радость и словно заставляли лучше понимать природу, любить её и оберегать.

Всё живое местные жители крепко защищали, соблюдая сроки охоты, промысляя зверя и отстреливая птицу в разумных количествах, видя в этом основу своего существования. Поэтому и птица доверялась человеку. Зимой, например, гоголи табунами садились на Манаковую и плавали, ныряя возле берега, около балаганов и привязанных собак. Там же временами опускались стайки крохалей, добывая мальков.

Будучи мальчишкой, иногда я замечал снижавшихся над плёсом ключика, вытекавшего из-под земли на расстоянии четырёхсот метров от избы, парочку или табунчик краковых.

Они подолгу там и в речушке Петровичей, куда впадал этот ключик, отдыхали и кормились. Если это происходило зимой, я надевал камлейку и, скрытно подползая к ним, отстреливал одну-две утки.

Промыслом уток ради спортивного интереса большей частью занимались молодые люди и подростки.

Гуси в Большерецке были редкостью.

Орлан-белохвост встречался весь год. Зимой он, выбрав ветлу, господствовавшую над местностью около села, днями сидел на её вершине, высматривая падаль, которая случалась от падежа собак или других домашних животных. Бывало, что этот пернатый хищник садился на крышу дома. Тогда в избе ожидали беду. Причём если он опускался на конёк, то ожидали смерти главы семьи. Такое приключилось с нашей семьёй, свидетелем чего был я сам.

За птицей орёл не охотился, но, заметив подбитую утку, недосыгаемую для человека, непременно расклевывал её.

Иногда ранней весной орлы собирались в стайку из трёх-пяти птиц и подолгу парили в воздухе, оглашая местность воинственным кличем. Орёл — большой любитель всякой рыбы, от гольцов до кеты и красной, которых уносил в когтях к гнезду, свитому на самой могучей ветле. Интересную схватку этой костистой птицы с заострённым книзу клювом с крупной рыбы я наблюдал в Большерецке.

В середине весны я сидел с друзьями-одноклассниками на берегу разлившейся реки Манаковой. Относительно спокойное течение перед нами на плёсе в изголовье крутой шиверы сменялось далее, вниз по течению, значительным бегом воды. Из-за кривуна реки показался орёл и, поравнявшись с нами, улетел дальше, обозревая поверхность воды. Вскоре он вернулся и в непосредственной близости от нас стал описывать небольшие круги. Было видно, что он своим острым зрением заметил в мутной воде рыбу. Чавыча, преодолевшая упорное течение перед шиверой и на ней, отдыхала, слабо работая хвостом и плавниками.

Мы замерли, ожидая яркой схватки двух большерецких великанов. Во время одного из круговых пролётов орёл вдруг

сложил крылья, вытянул клюв вперёд и с выпущенными когтями камнем устремился к воде. После всплеска и веера серебряных брызг поверхность воды сомкнулась, и птица исчезла. Мы подумали, что попавшийся крупный экземпляр чавычи утянул хищника на дно, где он захлебнулся. Но тут охотник показался из воды, взмахнул крыльями, но снова был увлечён в пучину. Так он всплывал на поверхность ещё пару раз и широкими взмахами крыльев каждый раз удлинял своё пребывание на воздухе.

Постепенно рыболов перестал погружаться. Видно, смертельно раненая и измученная чавыча уменьшила сопротивление. Орёл размашистыми ударами крыльев по воде стал прибаваться к противоположной косе, держа добычу в когтях, нанося ей мощные удары клювом по голове.

Пристав к отлогому берегу, птица вытащила добычу на прибрежный кругляк из камня, отошла от неё на небольшое расстояние и, широко раскрывая клюв, тяжело задышала. После кратковременного отдыха, наступив одной лапой на слегка вздрагивавшую икрянку, орёл стал клювом рвать куски её жирного тела возле жаберных крышек и, жадно глотая их, окидывал местность взором победителя. На богатый стол слетелись голодные птицы, наблюдая за едой пернатого владыки. Чайки и вороны сидели поодаль, не решаясь коснуться добычи. Только назойливые сороки иногда приближались к великану и подхватывали упавшие крохи. Царь пернатых, продолжая пировать, не обращал на них никакого внимания.

Мы, голопузые, с босыми ногами, замороженные только что произошедшей драмой, покинули место событий после того, как орёл, наевшись до отвала, улетел, оставив пернатой мелочи часть добычи, жертвой которой он сам только что чуть-чуть не стал.

Сокол — птица прилётная, промышляет рыбу таким же способом, как и орёл, только меньшую по размерам. Сокол и ястреб питались, вероятно, в основном птицей. Утки ужасно боялись этих неумолимых и быстрых в полёте хищников, а особенно сокола. Бывало, плывёшь и поражаешься смелости

утки, плюхнувшись в воду около бата. Оказывается, она при нападении сокола спасается от него возле человека, которого обычно близко к себе никогда не подпускает.

Сокол и ястреб били уток во время их полёта, опасаясь нападать, когда те держались на воде. А если стервятник и решался налетать на спокойно плававшую утку, то она ныряла в воду. Тогда хищник садился на ближайшее дерево и выжидал её взлёта.

К весне прилетали кукушки, жаворонки и многие другие звонкоголосые птички, одна из которых пела нарастяжку, как бы спрашивая: «Чавычу видели, чавычу видели?»

Зимовали дятлы, синички и кедровки. Водились глухари, тетёрки и куропатки. Последние, да и утки часто разбивались о проволоку телеграфных линий.

В темноте, особенно на белую одежду, нападали, пролетая низко и бесшумно, неведомые существа, называемые «нату-пырями». Они были очень назойливыми, и мы, дети, их боялись, принимая за нечистую силу. Позже я понял, что это были летучие мыши, которых никто из жителей, наверное, вблизи никогда не видел.

Интересная птица — ворон. Он мощнее вороны, пребывал в основном на тундрах, надеясь там пожить пада-лью или мясом оленя, задранного волком. Казалось, засне-женные просторы тундры безжизненны. Но стоило присту-пить к разделке туши упрямленного зверя, как откуда ни возьмись, издавая протяжный гортанный звук: «Колл, колл...», появлялся сначала один ворон, а за ним ещё несколь-ко. Создавалось впечатление, что каждая птица наблюдала за своим определённым участком, извещая в случае обнару-жения поживы соседей, а те, в свою очередь, — эстафетой остальных.

Вороны и сороки, в отличии ворона, держались обжи-тых человеком мест. Но это не исключало их присутствия и около промышлявшего на реке или лежавшего в гущине растительности медведя. Если зверь рыбачил, они корми-лись возле него, а если он пребывал близко от охотников, птицы призывно верещали, показывая залёгшего мишку,

надеясь полакомиться его жирными потрохами. Такой сигнал был особенно важен, когда охотник выслеживал раненного медведя.

Зимой сороки и вороны большого вреда не приносили, поедая домашние отходы на помойках, а вот летом, когда сушилась юкола, от них не было никакого спасения. Выклё-вывая тело рыбы, они не столько поедали сами, сколько тра-вили — портили, сбрасывая из-под балагана юколу на зем-лю, где её уничтожали собаки-вольницы. Вороны ужасно боялись ружья. Бывало, высунешь из укрытия часть ствола, и всю стаю с помоек как ветром сдует.

Хитрая ворона не очень-то попадалась в капкан, а если и попадалась, то так кричала, что её товарки со всей окрест-ности собирались в огромную стаю и, долго и тревожно кар-кая во всю глотку, кружились в воздухе, оплакивая обре-чённую на смерть.

Убитую ворону вешали под балаганом для острастки. Некоторое время это отпугивало других пакостников, так-же как висевшее ружьё или чучело человека, но проходило небольшое время, и голод заставлял их забывать минувшую опасность. Они продолжали своё коварное занятие с новой силой. Городьба подбалаганика сеткою, звон колокольчи-ков и боталов при помощи длинного матауза, протянутого от них к избе, помогали тоже недолго. Тогда для отпугива-ния этих обнаглевших птиц мобилизовали детей, считая для нас это занятие вполне посильным. Но мы иногда, если взрос-лые отлучались на покос, оставляя на наше попечение всё хозяйство, так увлекались игрой, что не только про охра-ну юколы забывали, но и есть-то ничего не ели. Тогда воз-вратившиеся вечером родители, обнаружив беспорядок под балаганом или на вешалах из-за этих вороватых птиц, крепко нам всыпали.

Сороки и вороны сооружали гнёзда в виде больших нагро-мождений из веток на вершинах нетолстых деревьев, исклю-чавших возможность добраться до них нам, разорителям. Вместе со своей кладкой они высиживали и яйца беззабот-ной кукушки.